

# Неделя на реках Конкорд и Мерримак

1849, источник: [здесь](#)

ЧЕТВЕРГ

“ В талой глуши идти ему пришлось,  
Куда не может солнца луч пробиться;  
Там прячется медведь, там бродит лось,  
С куста на куст перелетает птица.  
Спускалась ночь – и он ложился спать,  
А с первым светом шел вперед опять.  
Для мудрого весь мир – большой чертог:  
Леса, как стены, небеса, как своды.  
Он духом чист; и освещает Бог  
Ему дорогу к таинствам Природы.

Эмерсон<sup>1</sup>

Проснувшись этим утром, мы услышали слабый, но отчетливый и ненавистный звук дождя, колотившего по матерчатой крыше палатки. Дождь моросил ночь напролет, и теперь все вокруг проливалось слезы; капли падали в реку, на ольховую рощицу, на пастбища; и вместо радуги, пересекающей небо, все утро раздавались пронзительные трели воробьиной овсянки. Радостная вера этой пичуги примиряла с молчанием всего лесного хора. Стоило нам выйти наружу, как позади нас по оврагу промчалось стадо овец под предводительством нескольких баранов; они беззаботно и весело спешили с каких-то пастбищ наверху, где провели ночь, чтобы попробовать растущую у реки траву; но стоило их вожакам увидеть сквозь туман очертания нашей белой палатки, как они, пораженные, застыли, упершись в землю передними ногами и сдерживая живую лавину за своими спинами, и вот уже все стадо замерло, силясь своими овечьими мозгами разгадать внезапную загадку. Наконец они решили, что им ничто не угрожает, и потихоньку разбрелись по лугу. Позже мы узнали, что возвели палатку на том самом месте, где несколько лет назад была стоянка индейцев-пенобскотов<sup>2</sup>. Перед нами в тумане угадывались темные конические очертания пика Хуксетт, по которому ориентировались лодочники, и горы Унканнунок – далеко на запад по реке.

Здесь нашему плаванию был положен конец, потому что еще несколько часов под дождем – и мы добрались бы до последней плотины; а наша лодка была слишком тяжела, чтобы вытаскивать ее на сушу перед каждым речным порогом, которых на пути встретилось бы немало. Тем не менее мы отправились дальше пешком, прощупывая палками путь сквозь дождливый и мглистый день и перелезая через скользкие бревна на дороге так радостно, словно сияло яркое солнце. Мы ощущали аромат сосен и мокрую глину под ногами, рокот невидимых водопадов веселил сердце; на глаза попадалась то поганка, то деловитая лягушка, то гирлянды мха, свисающие с елей, то дрозды, безмолвно порхающие с ветки на ветку под лиственным покровом. Мы без колебаний следовали изгибам дороги, которая даже в этот дождливый из дней оставалась тверда, как вера. Нам удалось сохранить мысли сухими, и лишь одежда промокла до нитки. Моросил дождь, день был облачный, временами туман рассеивался, и трель овсянки предвещала появление солнца.

Все то, что природа посылает человеку, не может причинить ему вреда, не исключая даже землетрясения и грозы, – сказал провидец, живший в то время несколькими милями дальше по нашей дороге. Когда ливень принуждает нас укрыться под деревом, мы можем использовать эту возможность для более пристального изучения некоторых чудес природы. Я простоял под деревом в лесу полдня во время проливного летнего дождя, но провел это время с радостью и пользой, вперяя взгляд в извилины кары, в листья или в грибы у моих ног. Богатства служат несчастному, и небеса проливают обильные дожди на скалы.

Я почел бы за счастье простоять по подбородок в каком-нибудь заброшенном болоте длинный летний день, вдыхая запах дикой жимолости и голубики, убаюканный серенадами мошек и комаров! День, проведенный в обществе греческих мудрецов, подобных тем, что описаны в Пире у Ксенофонта, не сравнится с отточенной ясностью высохших побегов клюквы и свежей аттической солью густого мха. Представьте себе двенадцать часов одухотворенной и дружелюбной беседы с леопардовой лягушкой; или как солнце поднимается из-за зарослей ольхи и кизила и весело взбирается к зениту, до которого лишь две ладони, и, наконец, уходит на покой за каким-нибудь крутым холмом на западе. Начинаются вечерние песнопения комаров в тысячах зеленых часовен, и гулко ухаает выпь, скрытая в невидимом форте, словно пушка, возвещающая закат! Да, можно вымокнуть в соках болота за день с такой же пользой, как пройти, не замочив ног, по песку. Холод и влага – разве это менее богатые впечатления, чем тепло и сухость?

Теперь дождевые капли сочатся по жнивью, а мы лежим на подстилке из сена у склона поросшего кустарником холма; умирающий ветер на последнем дыхании собирает над нами тучи, а капли, мерно падающие с веток и листьев вокруг, усиливают ощущение внутреннего уюта и благодушия. Птицы теперь ближе к нам, и их легче различить под густой листвой; похоже, они сочиняют новые напевы, солнечный свет ярко вырисовывает их силуэты на ветвях. И если перенести сюда гостиные и библиотеки – какими жалкими показались бы их соблазны! А нам бы петь, как в прежние времена:

“ Я книгу отложу – мне не до книг.

И мысль, устав меж строками блуждать,

Уйдет в луга – туда, где каждый миг  
Ей дарит жизни свет и благодать.  
Плутарх умен, старик Гомер хорош,  
Шекспира жизнь прекрасна до конца...  
А что читал Плутарх? Все вздор и ложь.  
Шекспир читал не книги, а сердца.  
Листва над головою шелестит.  
И что мне греки, Троя, Одиссей?  
Здесь ныне битва славная кипит:  
На муравья поднялся муравей.  
Гомер меня простит: я сам не свой —  
К кому из них благоволит Зевес?  
Другой Аякс вступает в смертный бой,  
Вот он травинку взял наперевес...  
С Шекспиром встречу отложу пока.  
Меня пленила светлая роса,  
И ливнем набухают облака...  
Мы встретимся при чистых небесах.  
Моя постель – на зависть королям.  
Какой монарх такой похвастать мог?  
У изголовья – клевер и тимьян,  
Фиалки мягко стелются у ног.  
А облака заволокли весь свет,  
И бесконечно слушать я готов,  
Как капли посылают мне привет,  
Срываясь в пруд и в чашечки цветов.  
Пусть вымок я в постели овсяной,  
Но вижу: то кружится в синеве  
Плывущий одиноко шар земной,  
А то в моем исчезнет рукаве.  
Я слышу отовсюду капель звон,  
Как только ветер листьями тряхнет,  
Как будто жемчуга со всех сторон  
На землю щедро сыплет небосвод.  
А солнце глянет в облачную щель,  
Волос моих намокших стыдясь,  
И каждый локон – как веселый эльф,  
Одетый в бисер летнего дождяЗ.

Пик Хуксетт представляет собой небольшой поросший лесом холм, поднимающийся под весьма крутым углом до высоты двухсот футов у берега возле водопада Хуксетт. И если с горы Унканнунок открывается лучший вид на долину Мерримака, то с этого холма лучше всего видна сама река. Я сидел на его верхушке, на выступающей над пропастью скале всего лишь в несколько саженей длиной, в погоду получше нынешней; солнце садилось,

заливая долину реки потоками света. Мерримак был виден на несколько миль в обе стороны. Широкая и прямая река, полная жизни и света, с ее сияющими пенистыми порогами, островок, о который разбивается течение, деревушка Хуксетт на берегу почти прямо под вашими ногами, так близко, что вы можете разговаривать с ее обитателями или кидать камни в их дворы, лесное озеро у ее западной окраины, горы на севере и северо-востоке – все это составляет картину редкой красоты и завершенности, так что путешественнику стоит потрудиться ради ее лицезрения.

Нас гостеприимно встретили в Конкорде штата Нью-Гемпшир; это местечко мы по старой привычке настойчиво продолжали называть Нью-Конкорд, дабы не путать с нашим родным городом, от которого нью-гемпширский унаследовал имя и часть первых поселенцев. Здесь бы и закончить плавание, связав Конкорд с Конкордом извилистым речным путем; но наша лодка стояла в нескольких милях ниже по реке.

Богатство долин Пенакука, а ныне того самого Конкорда, отмечали все первопроходцы, и, согласно летописцу Хаверхилла, в году 1726-м поселение сильно разрослось, и в лесах была вырублена дорога, соединившая Хаверхилл и Пенакук. Осенью 1727 года первая семья – семья капитана Эбenezера Истмана – обосновалась в этом месте. Его упряжкой управлял Жакоб Шют, по рождению француз, и, говорят, первый человек, прошедший упряжку сквозь девственный лес. Вскоре после этого, утверждает предание, некий Эйер, юноша 18 лет, проехал на упряжке из двадцати связанных ярмами волов до Пенакука, перебрался через реку и вспахал часть долины. Считается, что он первым вспахал землю в тех местах. Завершив работу, на рассвете он отправился в обратный путь, потерял при переправе двух волов и прибыл в Хаверхилл около полуночи. Рычаги для первой лесопилки были сделаны в Хаверхилле, а потом доставлены в Пенакук на лошади.

Но мы обнаружили, что ныне фронтир уже не таков. Для некоторых дел нынешнее поколение безнадежно опоздало появиться на свет. Всюду на поверхности вещей люди уже побывали раньше нас. Мы лишены радости возведения последнего дома – это давным-давно сделано в пригородах Астория-сити, и наши границы буквально продвинулись до Южного моря, если верить старым грамотам на пожалование земли. Но жизни людей, даже раздавшись вширь, остались такими же мелкими. Бесспорно то, что, по словам одного западного оратора, люди, как правило, занимают одно и то же пространство – одни живут долго и узко, другие широко и коротко; однако все это поверхностная жизнь. Земляной червь – столь же хороший путешественник, как кузнечик или сверчок, и куда более мудрый поселенец. Те, как ни стремятся, не могут ускакать от засухи или доскакать до лета.

Мы избегаем зла, не спасаясь от него бегством, а поднимаясь над ним или опускаясь ниже его уровня, подобно тому, как червь избегает засухи и заморозков, зарываясь на несколько дюймов глубже. Границы расположены не к западу или востоку, не к северу или югу, но там, где человек проводит грань, встает лицом к лицу с фактом, пусть это даже всего лишь его сосед – там простирается неосвоенная девственная пустыня между ним и Канадой, между ним и заходящим солнцем или, наконец, между ним и чем-то другим. Пусть он построит себе бревенчатый домик, не сдвигая с бревен кару, пусть встретит другое лицом к лицу, пусть ведет на протяжении семи или семидесяти лет Старинную французскую войну с индейцами и бродягами и со всем тем, что может встать между ним и реальностью; и пусть, если

может, убережет свой скальп.

Мы больше не плыли по реке, а брели по неприветливой земле, подобно паломникам. Сзади перечисляет тех, кто может путешествовать; среди прочих это простой ремесленник, способный добыть себе пропитание с помощью трудолюбивых рук, который не будет вынужден рисковать доброй славой ради каждой краюхи хлеба, как говорят мудрецы. Путешествовать может тот, кто способен прокормиться плодами и дичью в самой освоенной местности. Человек может путешествовать быстро и добывать себе пропитание по пути. Мне не раз предлагали разную работу (лудильщика, часовщика), когда я странствовал с походным мешком за плечами. Один человек как-то предлагал мне место на фабрике, расписывая условия и жалованье, когда увидел, что мне удалось закрыть в железнодорожном вагоне окно, с которым не справились остальные пассажиры. Слышал ли ты о суфии, который вбивал гвозди в подошву своей сандалии; кавалерийский офицер взял его за рукав и сказал: Иди подкуй мою лошадь. Фермеры просили меня пособить им с покосом, когда я проходил через их поля. Один человек попросил меня починить ему зонтик, приняв меня за починщика зонтиков из-за того, что я в солнечный день нес свой зонтик в руке. Другой захотел купить у меня оловянную кружку, которую я нес на поясе (а за спиной – сковородку). Дешевле всего и дальше всего можно путешествовать, не уходя далеко; надо идти пешком и брать с собой ковш, ложку, леску, какую-нибудь индейскую еду, немного соли и немного сахара. Добравшись до ручья или пруда, вы сможете наловить рыбы и сварить из нее уху или похлебку; или купить у фермера краюху хлеба за четыре цента, намочить ее в первом же придорожном ручье и посыпать сахаром – уже этого хватит вам на целый день; или, если вы привыкли к более сытой жизни, вы можете купить кварту молока за два цента, покрошить туда хлеб или холодный пудинг и есть собственной ложкой из своей собственной тарелки. Вы можете выбрать любую из этих возможностей, но не все вместе, разумеется. Я прошел таким образом сотни миль, ни разу не поев под кровом, спал на земле, когда придется, и понял, что это дешевле и во многом полезнее, чем оставаться дома. Некоторые даже спрашивали: почему бы не путешествовать вечно? Но я никогда не считал свои путешествия просто средством к существованию. Как-то я остановился возле дома простой женщины в Тингсборо и попросил попить; узнав ведро, я сказал, что уже останавливался здесь девять лет назад с той же самой целью, и хозяйка спросила меня, не странник ли я, подразумевая, что я так с тех пор и странствую, а теперь дорога вновь вывела меня на прежнее место; она считала, что путешествовать – просто одна из профессий, более или менее прибыльная, просто ее муж этим не занимается. Однако непрестанное странствование отнюдь не прибыльное дело. Во-первых, изнашиваются подошвы сапог, болят ноги, и вскоре сердце человека ожесточается, он начинает затем ненавидеть это занятие, и усталость одолевает его. Я замечал, что конец жизни тех, кто много путешествовал, печален и жалок. Истинное, самоотверженное странствование – не просто времяпрепровождение, оно серьезно, как могила, как любой этап пути человека на земле, и нужно долго испытывать себя, прежде чем решиться на это. Я не говорю о тех, кто путешествует сидя, о тех сидячих путешественниках, которые могут болтать ногами во время движения, превращаясь в чистый символ перемещения – не так ли мы называем курицу наседкой, даже если она не сидит ни на каком насесте? – нет, я говорю о тех, чьи ноги живут в путешествиях и от них же в конце концов умирают. Путешественник должен заново родиться на дороге и получить паспорт от стихий, от главных сил, во власть которых он себя предает. Он наконец-то испытает в реальности старую материнскую угрозу, что с

него живого сдерут кожу. Его болячки будут постепенно уходить вглубь, чтобы исцеление происходило внутри, а он не даст отдыха своим стопам, и по ночам усталость станет ему подушкой, чтобы он набирался опыта в ожидании дождливых дней. Так было и с нами.

Порой мы останавливались на постоялом дворе в лесу, где собирались ловцы форели из далеких городов и куда, к нашему изумлению, с наступлением темноты сходились поселенцы, чтобы поболтать и узнать новости, хотя дорога была всего одна и ни одного дома вокруг – эти люди словно вырастали из земли. Там мы, никогда не читавшие свежих газет, принимались порой читать старые, и в шелесте их страниц нам слышалось биение атлантического прибоя вместо вздохов ветра в соснах. К тому же ходьба делала для нас желанной даже самую невкусную и несытную еду.

Какая-нибудь трудная и скучная книга на мертвом языке, которую вы совершенно не можете читать дома, но на которой вы все же порой задерживаете взгляд, – вот что лучше всего взять с собой в путешествие. На постоялом дворе, в компании неотесанных конюхов и бродяг, я могу спокойно взяться за писателей серебряного или бронзового века. Последнее, что я регулярно читал, – это труды

АВЛА ПЕРСИЯ ФЛАККА.

Если вам известно, какой божественный труд простирается перед каждым поэтом; если вы возьметесь и за этого автора в надежде пройти вместе с ним этот прекрасный путь, вы не сможете не согласиться со словами пролога:

“ Ipse semipaganus  
Ad sacra Vatum carmen affero nostrum.  
...сам же, как полу неуч,  
Во храм певцов я приношу стихи эти4.

Здесь не найти ни внутреннего достоинства Вергилия, ни изящества и живости Горация; и никакая сивилла не нужна, чтобы сообщить вам, что Персии сильно проигрывает по сравнению с древнегреческими поэтами. Трудно различить хоть один гармоничный звук среди этих немзыкальных нападков на глупость человеческую.

Очевидно, что музыка живет в мыслях, но пока что – не в языке. Когда Муза приходит, мы ждем, что она заново вылепит язык и подарит ему свои собственные ритмы. Поэтому-то стих до сих пор скрипит под тяжестью своей ноши, а не несется радостно вперед с веселым пением. Самую прекрасную оду можно спародировать; да она и есть пародия; и звуки ее ничтожны и жалки, как скрип деревянной лестницы под ногами. Гомер, Шекспир, Мильтон, Марвелл, Водсворт – лишь шелест листьев и хруст веток в лесу, в котором нет еще ни одной птицы. Муза никогда не повышала голос до пения. И уж конечно сатиры не поются. Никакой Ювенал или Персии не сочетали музыку со своими стихами, в лучшем случае они в заданном ритме обличают пороки; они так недалеко ушли от этих пороков, что скорее озабочены чудовищем, которого избежали, нежели светлыми горизонтами, которые открываются

впереди. Проживи они целый век – они бы ушли из тени чудовища, осмотрелись вокруг и нашли бы другие предметы для размышления.

Покуда существует сатира, поэт остается *particeps criminis*<sup>5</sup>. Он видит только, что от дурного следует держаться подальше и иметь дело лишь с тем, что вне подозрений. Если вы натолкнетесь на мельчайшую крупичку правды (вес огромного тела, оставившего едва заметный след), вечности не хватит, чтобы ее восславить, в то время как зло никогда не бывает столь огромным, и вы лишь сами раздуваете его в момент ненависти. Правда никогда не удостоит фальшь упреком; ее собственная прямота и есть самое суровое осуждение. Гораций не писал бы сатиры так хорошо, если бы не был вдохновлен этой страстью, текущей по его жилам. В его одах любовь всегда превосходит ненависть, самая злая сатира воспевает себя самое, и поэт удовлетворен, пусть даже глупость не исправлена.

В развитии гения существует некоторый обязательный порядок: вначале Обвинение, затем Сокрушение и, наконец, – Любовь. Обвинение (именно оно питает Персия) лежит вне пределов поэзии. Вскоре мысль о высшем благе превратила бы его отвращение в сожаление. К обвинителю никогда не испытываешь особой симпатии, ибо, основательно изучив природу вещей, мы приходим к выводу, что он должен одновременно быть и истцом, и ответчиком, так что лучше бы уладить дело без суда. Тот, кому наносится вред, есть до некоторой степени сообщник вредителя.

Не будет ли более верным сказать, что высшее состояние музы, как правило, скорбное. Даже святой плачет слезами радости. Кто слышал, как поет Невинный?

Но самое божественное стихотворение или жизнь великого человека – это самая жестокая сатира; столь же безликая, как сама Природа, как вздохи ветра в ее лесах, которые всегда навевают слушающему легкий упрек. Чем больше величие гения, тем острее лезвие сатиры.

Здесь мы имеем дело с редкими и отрывочными чертами, которые Персию присущи в наименьшей мере, которые, иначе говоря, суть самые сокровенные излияния его музы; лучшее из того, что он говорит в каждом отдельном случае, – это вообще лучшее, что он может сказать. Критики и досужие умы и в этом саду ухитрились насобирать кое-какие пригодные для цитирования предложения, ведь так приятно набрести даже на самую известную истину в новой одежде, а если бы нам что-нибудь подобное сказал сосед, мы бы и внимания не обратили на такую банальность. Из шести сатир можно выбрать строк двадцать, в которые помещается ровно такое же число мыслей, и ученому эти строки покажутся едва ли не самыми для этих мыслей подходящими; хотя стоит перевести их на знакомый язык, и та внутренняя энергия, которая делала их подходящими для цитирования, пропадет. Строки, которые я привожу, перевод не может превратить в банальность.

Противопоставляя человека истинно религиозного тем, которые в завистливом уединении станут скорее вести с богами тайный торг, он говорит:

I

Haud cuivis promptum est, murmurque humilesque sussurros  
Tollere de templis; et aperto vivere voto.  
Ведь не для всех хорошо бормотанье и шепот невнятный  
Вывести из храмов и жить, своих не скрывая желаний<sup>6</sup>.

Для добродетельного человека вселенная – единственная *sanctum sanctorum*<sup>7</sup> и *penetralia*<sup>8</sup> храма – это ясный полдень его существования. Зачем ему идти в подземные тайники, словно это единственное святое место на земле, которое он не успел осквернить своим присутствием? Послушная душа будет лишь стараться открывать для себя новое, ближе знакомиться с вещами, все больше и больше вырываться туда, где свет и воздух, как иные устремляются в тайну. Сама вселенная покажется ей недостаточно распахнутой. В конце концов она пренебрегает даже тем молчанием, которое свойственно истинной скромности, но независимость от сохранения тайны, заключенная в ее разоблачениях, заставляет весь мир заботиться о скромности, когда она сообщает слушающему что-либо, не предназначенное для чужих ушей.

У человека, который хранит секрет в своем сердце, всегда есть впереди еще более важный нераскрытый секрет. Самые незначительные наши действия могут окутаться завесой таинственности, но то, что мы совершаем искренне и чему отдаем себя до конца, должно быть прозрачно как свет.

“ В третьей сатире он спрашивает:

Est aliquid quo tendis, et in quod dirigis arcum?  
An passim sequeris «rtvos, testave, hitove,  
Securus quo pes ferat, atq̄tie ex tempore vms?  
Цель-то какая же твоя? Куда ты свой дух направляешь?  
Или в воров черепком в грязью швыряешь, и бродишь  
Зря, куда ноги несут, и живешь, на о чем не заботясь?<sup>9</sup>

Плохой смысл всегда вторичен. Язык, казалось бы, всегда беспристрастен, но а он спотыкается и сужает значение, когда речь заходит о какой-либо подлости. Здание высшей истины на ней не возводится. То, что можно без труда преобразить в правило мудрой жизни, здесь бросают прямо в лицо лентяю, и это становится жалом обвинения. В общем и целом невинный человек вынесет из самых изощренных допросов в нотаций, из неясного шума обвинений и советов лишь легкий отзвук дифирамба в ушах. Наши пороки всегда однонаправленные с нашими добродетелями, и в самых ярких своих проявлениях являют собой лишь их более или менее убедительную имитацию. Ложь никогда не достигает достоинства абсолютной ложности, это лишь худший сорт правды; будь она более ложной, она бы подверглась опасности стать правдивой.

*Secums quo pes ferat, atque ex tempore vivis* (Бродишь зря, куда ноги несут, и живешь, ни о чем не заботясь (лат.).



– это, стало быть, девиз мудреца. Ибо первый, как показывает нам тончайшая материя языка, несмотря на все свое небрежение, – в безопасности; а лентяю, несмотря на его беззаботность, угрожает опасность.

Жизнь мудреца протекает вне времени, ибо он живет в вечности, которая охватывает все времена. Изощенный ум в любое мгновение может перенестись дальше в прошлое, чем Зороастр, и вернуться в настоящее с добытым откровением. Рачительное и трудолюбивое мышление не приносит человеку никакого состояния; его расчеты с внешним миром не улучшаются, его капитал не растет. Он должен вновь испытывать судьбу сегодня так же, как испытывал вчера. Все вопросы разрешаются только в настоящем. Время измеряет только само себя. Написанное слово можно отложить на потом, но слово произносимое – нет. Если по этому случаю говорится так-то, то пусть по этому случаю так и будет сказано. Весь мир тщится предупредить того, кто живет без веры за душой.

В пятой сатире, лучшей, на мой взгляд,

“ Stat contra ratio, et secretam garrit in aurem,  
Ne liceat facere id, quod quis vitiabit agendo.  
Против тебя здравый смысл, что тайком тебе на ухо шепчет:  
Дело тому поручать, кто испортит его, невозможно<sup>10</sup>.

Только те, которые не видят лучшего способа сделать что-либо, пытаются приложить к этому руку. Опытнейшего мастерового должна подбадривать мысль, что его неловкость не принесет вещи вреда, даже если его искусство не сможет воздать ей должное. Это не оправдание бездействию, вызванному чувством несостоятельности, – ибо что не выходит из-под наших рук, оказывается несовершенным и исковерканным – но лишь призыв к большему тщанию.

Сатиры Персия отнюдь не вдохновенны; предмет был, очевидно, выбран им, а не ниспослан свыше. Может быть, я приписал ему большую серьезность, чем видится с первого взгляда; но что бесспорно и чего у Персия не отнять, что у него абсолютно и самостоятельно – так это серьезность, которая и заставляет его трезво рассматривать все. Художника и его труд не следует разделять. Человек глупый не может быть отделен от своих глупостей – тот, кто делает, и то, что сделано, составляют единый факт. Для крестьянина и актера существует лишь одна сцена. Шут не может подкупить вас, чтобы вы смеялись каждый раз над его гримасами; они будут вырезаны в египетском граните, встанут тяжелыми пирамидами на фундаменте его характера.

Солнце вставало и садилось, а мы по-прежнему брели по сырой лесной тропе на Пемигевассет, больше похожей теперь на след выдры или куницы или колею, по которой бобер протащил свой хвост, чем на дорогу, над которой поднимается пыль от проезжающих колес; где городки становятся клиньями, которые лишь скрепляют окружающие пространства. Дикая горлица спокойно сидела над нашими головами, высоко на мертвых ветвях корабельной сосны, и казалась снизу меньше малиновки. Наши постоянные дворы

располагались прямо на отрогах гор, и, проходя, мы бросали взгляды наверх, где стволы кленов качались в густых облаках.

Далеко к северу – мы стараемся точно излагать происходящее, – возможно, близ Торнтона, мы встретили в лесу молодого солдата; он шел на смотр в полном обмундировании и держался середины дороги. В глухом лесу – с мушкетом на плече, строевым шагом, с мыслями о битвах и славе. Юноше предстояло испытание потруднее многих сражений – разойтись с нами достойно, как подобает солдату. Бедняга! Он дрожал как тростинка в этих легких форменных штанах, и, когда мы с ним поравнялись, вся воинская суровость испарилась с его лица; он прошмыгнул мимо, словно гнал отцовских овец под защитой неуязвимого шлема, Да, тащить лишнее вооружение в тот момент для него было непосильной ношей – он и прирожденными-то орудиями, то есть руками, управлял с трудом. А ноги уподобились тяжелой артиллерии, угодившей в болотистую местность: легче обрезать постромки и забыть. Его наголенники сталкивались и сражались друг с другом за неимением иного неприятеля. Но он благополучно прошел мимо вместе со всем своим вооружением и дожил до ожидающего его сражения; и я, записывая эти строки, не желаю бросить ни малейшего подозрения на его доблесть и истинную отвагу на поле брани.

Пробираясь сквозь овраги, прорытые ручьями, по склонам и вершинам седых холмов и утесов, по местности, покрытой пнями, валунами, лесами и пастбищами, мы наконец добрались до реки Амонусок, перешли по сваленным деревьям на другой берег и вдохнули свободный воздух Ничьей Земли. Вот так и в погожие, и в ненастные дни мы шли вперед по реке, притоком которой является и наш родной ручей, пока из Мерримака она не превратилась в Пемитевассет, что пенится у наших ног, а когда мы миновали ее исток – дикий Амонусок, его узенькое русло мы преодолели одним прыжком, и он повел нас вверх по течению далеко в горы, а уж потом, без его помощи, мы смогли достичь вершины Агиокочука.

“ О дивный день! Ты свежим утром начат,  
На свадьбу неба и земли похож;  
Но к вечеру в траве роса заплачет,  
И ты умрешь.  
Херберт11

Когда спустя неделю мы вернулись в Хуксетт, фермер, в чьем сарае мы повесили сушить свою палатку, мешки и прочие вещи, уже собирал урожай, а многочисленные женщины и дети ему помогали. Мы купили один арбуз, самый большой на его участке, чтобы тащить с собой в качестве балласта. Это был арбуз Натана, он даже мог продать его, если бы захотел, так как ему было поручено следить за ним, когда плод еще только начал созревать. После церемонного совета с отцом сделка была заключена – мы выбираем любой прямо на бахче, будь он зеленый или спелый, и платим, как господа сочтут нужным. Арбуз оказался спелым, недаром у нас был богатый опыт в выборе этих плодов.

Наша лодка мирно ждала нас в гавани под горой Унканнунок; нам предстояло плыть по течению с попутным ветром, и мы отправились в обратное плавание в полдень, спокойно беседуя или молча наблюдая, как скрывается за изгибом реки тот или иной пейзаж. Время не стояло на месте, и теперь ветер все время дул с севера, так что, плывя под парусами, мы могли время от времени налегать на весла, не теряя времени. Сплавщики, бросающие древесные стволы с высоты тридцати- или сорокафутового берега, чтобы те поплыли вниз по течению, останавливались и смотрели на наш удаляющийся парус. К тому времени нас уже знали все лодочники и приветствовали как Таможенное Судно этого ручья. Когда мы быстро плыли по реке, зажатые между берегов, звук падающих стволов время от времени будил первобытное эхо, не нарушая тишину и безбрежность полудня. Вид лодки, скользящей вдалеке у кромки берега, лишь увеличивал по контрасту одиночество.

Даже в самом восточном из городов сквозь бессвязный полуденный гомон проглядывает нетронутая, первобытная, дикая природа, населенная скифами, эфиопами и индейцами. Каковы там эхо, свет и тень, день и ночь, океан и звезды, землетрясения и солнечные затмения? Творения человека повсюду тонут в безмерности Природы. Для индейца Эгейское море – все то же озеро Гурон. Всю утонченность цивилизованной жизни можно найти и в лесу, под зеленым пологом. Самые дикие уголки обладают очарованием домашнего уюта, даже для горожанина, и когда на опушке раздается стук дятла, это лишь еще раз напоминает, как мало изменений привнесла сюда цивилизация. Наука может проникнуть в самую потаенную глубину леса, и здесь природа следует все тем же старым правилам. Вот маленький красный жучок на сосновом пне – это для него веет ветер, и солнце пробивается сквозь тучи. Самая дикая природа – лишь материал для наиболее утонченной жизни, что-то вроде предвкушения конечного результата, но это само по себе уже большее совершенство, чем любое из достижений человека. Папирус растет по берегам реки и рвется к свету, гусь летит в вышине – за много веков до того, как родились ученые или были изобретены буквы – они предвещают литературу, они даже будут поначалу служить ее сырьем, но человек еще не научился ими пользоваться, чтобы что-то выразить. Природа готова принять в свои объятия лучшее из произведений человеческого искусства, ибо сама она – искусство столь тонкое, что художник никогда не проявляется в своем произведении.

Искусство – не способ приручить, и Природа не дика в обычном смысле этого слова. Лучшее из человеческих творений тоже окажется диким, естественным в хорошем смысле. Человек приручает Природу, чтобы обнаружить в один прекрасный день, что она стала еще свободнее, чем прежде, впрочем, он может и вовсе ничего не добиться.

\*\*\*

С попутным ветром и с помощью весел мы скоро достигли водопадов Амоскеага в устье реки Пискатакуоаг и узнали живописные берега и островки, которыми любовались ранее. Наша лодка была подобна тому кораблю, на котором рыцарь покидал остров в чосеровском Сне:

I

Был сей корабль прекрасен, как мечта,  
И королевы гордой неспроста  
Обычно неприветливые взоры  
Скользили с лаской по его узорам.  
Другого нет такого корабля —  
Он плыть бы мог без мачты, без руля,  
Он плавно путешественников нес  
По вольным волнам вымысла и грез.  
На запад, на восток скользил послушно,  
Приемля штиль и бурю равнодушно<sup>11</sup>.

Так мы и плыли в тот вечер, вспоминая слова Пифагора, хоть и без особого на то права, Прекрасно, когда процветание сочетается с умом, когда плывущие с попутным ветром сверяют путь по добродетели, подобно тому как лоцман узнает направление по звездам<sup>\*\*</sup>. Мир раскрывает свою красоту тому, кто сохраняет равновесие в жизни и безмятежно идет своей дорогой, без тайных страстей; и тот, кто плывет по течению, должен лишь управлять лодкой да удерживать ее посередине и огибать пороги. Зыбь вьется у нас в кильватере, как кудри на головке ребенка, а мы твердо придерживаемся курса и наблюдаем, как перед носом судна

“ Плавный надрез  
Рассекает волну.  
Мы сквозь стихию легкую пройдем,  
Как тень скользят по глади сновидений<sup>13</sup>.

Естественные формы красоты окружают путь того, кто усердно делает свое дело; так курчавые стружки летят из-под рубанка, так отверстие кольцом ложится вокруг сверла. Волнообразное движение – нежнейшее из всех, почти идеальное – одна жидкость перетекает в другую. Зыбь – как полет, только еще грациознее. С вершины горы вы можете увидеть ее в крыльях птиц, в бесконечном повторении. Две волнистые линии, изображающие полет птицы, словно скопированы с водной зыби.

Деревья образуют красивую изгородь для пейзажа, обрамляя горизонт с двух сторон. Одинокие деревца и рощицы по левую сторону кажутся расположенными в естественном порядке, хотя фермер сообразовывался лишь с собственным удобством. Но и он укладывается в схему Природы. Искусству никогда не угнаться за роскошью и изобилием Природы. В первом все на виду, оно не может позволить себе скрытых богатств, и оттого проигрывает при сравнении; но Природа, даже будучи снаружи чахлой и скудной, не оставляет сомнения в щедрости корней. В болотах, где лишь иногда попадаются вечнозеленые деревца среди колеблющегося мха и островков клюквы, оголенность не означает бедности. Одинокaя ель, которую я почти не замечал в саду, в таком месте притягивает мое внимание, и я впервые понимаю, почему люди сажают их вокруг своих

домов. Но хотя в садах перед домом могут расти прекрасные экземпляры, большая часть их красоты пропадает впустую, оттого что нет ощущения родственной мощи под ними и вокруг них, которая оттеняла бы их красоту. Как мы сказали, Природа – более великое и совершенное искусство, искусство Бога; сама же она есть гений; даже в мелочах, в деталях существует сходство между творениями Природы и искусством человека. Если наклонившаяся под собственной тяжестью сосна рухнет в воду, то солнце, вода и ветер придадут фантастическую форму ее ветвям, она станет белой и гладкой, будто выточенная на станке. Человек в искусстве мудро взял за образец формы, наиболее склонные к движению, росту, – листва, плоды. Гамак, висящий в роще, имеет форму каноэ, более или менее широкого, с более или менее высокими краями, с тем или иным количеством людей в нем, и он качается в воздухе, послушный движениям тела, подобно каноэ на воде. Наше искусство оставляет после себя стружки и пыль, ее же искусство проявляется даже в стружках и пыли, оставленных нами. Ее совершенство отточено веками упражнений. Мир содержится в порядке; никакого мусора; утренний воздух чист даже сегодня, и на траве не осела пыль. Взгляните, как вечер крадется по полям, тени деревьев простираются все дальше и дальше на луга, и скоро заезды выйдут купаться в этих отдыхающих водах. Ее начинания надежны, они никогда не терпят поражений. Если бы я пробудился от долгого сна, то узнал бы время дня по любой детали, по трели сверчка, хоть ни один художник не в силах изобразить эти отличия. У пейзажа – тысяча циферблатов, отображающих естественные деления времени, тысячи оттенков и черт, присущих каждому часу.

“ Бессрочный ведаёт обход  
Не только циферблата лик,  
Неслышно призрак тот идет,  
Срывая день и год, как миг  
С седых вершин, густых лесов,  
С Пальмиры гордых ветхих стен,  
Над морем – с башенных зубцов,  
С травы... Неумолим и нем<sup>14</sup>.

Это чуть ли не единственная игра, в которую играют деревья, эти прятки – сейчас эта сторона подставлена солнцу, потом другая, драматическое действо дня. В глубоких ущельях с восточной стороны скал ночь обосновалась уже в полдень, и, по мере того как день отступает, она выходит в его владения, прячась за деревьями и оградами, пока, наконец, не займет всю цитадель, и тогда она вводит за собой свои войска. Утро, может быть, ярче вечера, но не только потому, что воздух прозрачней, но еще и оттого, что мы чаще смотрим на запад, вперед, в день, и утром нам видна солнечная сторона вещей, а вечером тень каждого дерева.

Сейчас мы углубились в вечер, и свежий ленивый ветерок подул над рекой, гоняя яркую зыбь. Река выполнила свою дневную работу и, кажется, уже не течет, а просто растянулась во всю длину и отражает свет, а дымка над лесами подобна неслышным шагам или, скорее, легкой испарине отдыхающей природы, выделяющейся из мириад пор в расслабленную атмосферу.

Тридцать первого марта, сто сорок два года тому назад, примерно в такое же время дня, между сосновых лесов, окаймлявших тогда берега, торопливо гребли по этой части реки две белые женщины и мальчик, покинувшие остров в устье реки Контокук перед рассветом. Одеты они были не по сезону легко, на английский манер, и гребли неумело, однако с отчаянной энергией и решимостью, а на дне их каноэ лежали все еще кровоточащие скальпы десяти аборигенов. Это были Ханна Да-стан и няня, Мэри Нефф, обе из местечка Хаверхилл, расположенного в восемнадцати милях от устья реки, и английский мальчик по имени Самюэл Леннардсон – они убегали из индейского плена. Перед этим, пятнадцатого марта, Ханну Дастан заставили подняться от детской кровати и полуодетую, в одной туфле, в сопровождении няни начать неведомое путешествие сквозь холод^ снег и дикие леса. Она видела, что шестеро ее старших детей бежали со своим отцом, но ничего не знала об их дальнейшей судьбе. Она видела, как голову ее младенца размозжили о ствол яблони, как их дом и дом их соседей обратились в пепелища. Когда она попала в вигвам своего захватчика на острове более чем в двадцати милях от места, где мы сейчас проплываем, ей сообщили, что скоро ее и няню доставят в отдаленное индейское поселение и, раздев, подвергнут унижительным пыткам. Семья этого индейца состояла из двух мужчин, трех женщин и семерых детей, не считая английского мальчика, который жил среди них как пленник. Она решила попытаться бежать и велела мальчику спросить у одного из мужчин, как быстрее всего лишить жизни врага и снять с него скальп. Ударь его здесь, – ответил тот, прикладывая палец к виску, а потом показал, как снимают скальп. Утром тридцать первого числа она проснулась до рассвета, разбудила няню и мальчика, и, взяв индейские томагавки, они убили их всех во сне, кроме одного полюбившегося им ребенка и одной скво, которая, раненная, убежала с ребенком в лес. Английский мальчик ударил того самого индейца, который давал ему объяснения, в висок так, как тот показывал. Затем они собрали всю провизию, какую нашли, а также томагавк и ружье своего хозяина, затопили все каноэ, кроме одного, и пустились в путь в Хаверхилл, находящийся более чем в шестидесяти милях вниз по реке. Они уже покрыли некоторое расстояние, как вдруг Ханна испугалась, что ее истории не поверят без подтверждения, и они вернулись в опустевший вигвам, сняли скальпы с мертвецов, сложили их в мешок, как доказательство содеянного, и вновь прошли по своим следам по берегу, чтобы возобновить путешествие. Начинался рассвет.

Все это произошло рано утром, а теперь две усталые женщины и мальчик в забрызганной кровью одежде со страхом и решимостью в душе готовят на скорую руку трапезу из сушеной кукурузы и лосяного мяса, пока их каноэ скользит между корнями сосен; пни этих сосен до сих пор сохранились на берегах. Они думают о мертвых, оставшихся на заброшенном островке вверх по течению, и о живых безжалостных воинах, быть может, пустившихся в погоню. Им кажется, что каждый сухой лист, который пощадила зима, знает их историю, пересказывает ее в своем шелесте и выдает их. Индеец таится за каждой скалой и сосной, стук дятла заставляет их вздрагивать. Порою они забывают о грозящих им опасностях, гадая о судьбе своих близких, – найдут ли они их живыми, ускользнув от индейцев? Они не выходят на берег для приготовления пищи и причаливают, только чтобы обогнуть пороги. Украденная береза, забыв своего хозяина, служит им верой и правдой, а вздувшиеся воды быстро несут вперед, так что весла нужны лишь для управления, да еще чтобы согреться в движении. Лед плывет по реке, началась весна, наводнение выгнало бобров и ондатр из их жилищ; с берега на них смотрит олень; несколько лесных певчих птиц летят над рекой к северному берегу; скопа с криком парит над ними, гуси летят с резким

криком; но люди не замечают всего этого или сразу же забывают. Весь день они не разговаривают и не улыбаются. Иногда на берегу видны индейская могила, обнесенная частоколом, или пепелище сгоревшего вигвама, или засохшие стебли на одиноком индейском кукурузном поле на опушке. Береза с ободранной корой или обугленный пень там, где дерево подожгли, чтобы сделать из него каноэ, – единственные следы пребывания человека, для нас мифического, дикого человека. По другой стороне первобытный лес простирается до самой Канады или до Южного моря – для белого – это враждебная, мрачная глушь, но для индейца – родной дом, близкий его душе, как радостная улыбка Великого Духа,

Пока мы медлим в осенних сумерках, подыскивая укромный уголок для отдыха, те, другие, холодным мартовским вечером за сто сорок два года до нас уже скрылись из виду, влекомые течением и попутным ветром, но не для того, чтобы, подобно нам, устроиться на ночлег. Пока двое спят, один управляет каноэ, а течение несет их все ближе к поселениям, и, может быть, уже сегодня они доберутся до дома старого Джона Лавуэла на Салмон-Брук.

Историк сообщает, что они чудом избежали кочевых индейских племен и вернулись целыми и невредимыми со своими трофеями, за которые Верховный суд заплатил им пятьдесят фунтов. Все члены семьи Ханна Дастан вновь собрались вместе живыми и здоровыми, если не считать младенца, чьи мозги размазались по стволу яблони, и в последующие годы нашлись многие, утверждавшие, что пробовали яблоки с того самого дерева.

Кажется, с тех пор прошло немало времени, и все же это случилось позже, чем Мильтон написал Потерянный рай. Но это ничуть не умаляет древность описанного, ведь мы не измеряем историческое время по английским стандартам, так же как англичане – по римским, а римляне – по греческим. Мы должны заглянуть далеко в прошлое, – говорит Рэли, – чтобы увидеть римлян, дающих законы народам, и консулов, с триумфом вводящих в Рим королей и принцев, закованных в цепи; чтобы увидеть, как люди отправляются в Грецию за мудростью или в Офир за золотом; теперь остались лишь жалкие бумажные воспоминания об их былом величии<sup>15</sup>. И все же, с другой стороны, не так далеко, чтобы увидеть, как племена Пенакуков и Потакетов орудуют каменными топорами и стреляют из лука на берегах Мерримака. От этого сентябрьского вечера, от этих ныне обжитых берегов эти времена кажутся дальше, чем мрачное средневековье. Разглядывая старый рисунок, изображающий Конкорд, каким он был семьдесят пять лет тому назад, с открытой панорамой, с полуденными бликами на деревьях и реке, я понял, что не представлял себе, что в те времена светило солнце и что люди тогда жили при дневном свете. Еще труднее представить себе солнце, освещающее холмы и долины во время войны Филиппа, тропу войны Церкви или Филиппа, а позднее – Лавуэлла или Паугуса, при тихой летней погоде, словно они жили и боролись в густых сумерках или ночной тьме.

Возраст мира достаточно велик для нашего воображения, даже по Моисееву счету, без обращения к геологическим меркам.

От Адама и Евы одним прыжком по отвесному перпендикуляру вниз, к потоку, и дальше через древние царства, через Вавилон и Фивы, Брам и Авраама, к Греции и Аргонавтам, откуда можно начать снова с Орфея и Троянской войны, Пирамид и Олимпийских игр,

Гомера и Афин, и, передохнув у основания Рима, продолжить наше путешествие, через Одина и Христа

– к Америке. Это порядочный путь. И все же жизнью шестидесяти старушек, вроде той, что жила под холмом, скажем, по сотне лет каждая, достаточно, чтобы покрыть все расстояние. Взявшись за руки, они протянут нити от Евы до моей собственной матери. И вот они чинно сидят за чайным столом и сплетничают о всеобщей истории. Если считать с моей стороны, четвертая из женщин вскормила Колумба, девятая нянчила Вильгельма Завоевателя, девятнадцатая – пресвятая дева Мария, двадцать четвертая

– Кумекая Сивилла, тридцатая жила во время Троянской войны и имя ей – Елена, тридцать восьмая – царица Семирамида, шестидесятая – Ева, праматерь человечества. В общем,

“ Жила-была старушка в избушке без хлопот.  
Коль никуда не делась, так все еще живет.

И не такая уж далекая ее праправнучка будет свидетельницей смерти Времени.

Нам никогда не удастся полностью избежать реальных фактов в своем повествовании. Не существует примеров чистого вымысла. Даже чтобы сочинить художественное произведение, нужно лишь иметь досуг и смелость описывать некоторые вещи в точности такими, каковы они есть. Правдивый отчет о реальности – редчайшая поэзия, ибо взгляд здравого смысла всегда груб и поверхностен. Хотя я не слишком хорошо знаком с творениями Гете, я бы сказал, что его высшая добродетель как писателя именно в том, что он довольствовался точным описанием вещей, как он их видел, и своего впечатления от них. Большинство путешественников не имеют достаточного самоуважения, чтобы так поступать, чтобы просто расставить вокруг себя, как вокруг некоего центра, предметы и события. Вместо этого они воображают иные, более благоприятные взаимосвязи и расположения, что лишает их рассказ всякой ценности. В своих Итальянских путешествиях Гете плетется черепашью шаг, но всегда помнит, что под ногами у него – земля, а небеса – над головой. Его Италия – не просто родина *lazzaroni* и *virtuosi* (*Босяков и талантов* (ит.)). и фон для живописных руин, это еще и торфяная почва, блестящая днем в солнечном свете, а ночью – в лунном. Даже немногие дожди – и те правдиво описаны. Он говорит, как беспристрастный зритель, чье дело – в точности описать то, что он видит, и преимущественно в хронологическом порядке. Даже его размышления не перебивают описаний. В одном месте он рассказывает, как ярко и правдиво описал старую башню собравшимся вокруг него крестьянам, так что им, родившимся и выросшим в этих местах, пришлось оглянуться, чтобы, по его собственным словам, увидеть глазами то, что я им так расхваливал... И я ничего не пропустил, не забыл даже о плюще, который за целые столетия успел роскошно разукрасить скалу и развалины<sup>16</sup>. Так, даже низшие умы могли бы создавать бесценные книги, если бы сама по себе такая скромность не была свидетельством превосходства, поскольку мудрые не намного мудрее прочих в уважении к собственной мудрости. Некоторые, нищие духом, описывают, что произошло с ними, но другие – как они произошли во вселенной и какой приговор вынесли обстоятельствам. Помимо всего, Гете



искренне желал добра всем людям и никогда не написал не только сердитого, но и просто небрежного слова. Однажды по поводу мальчишки-почтальона, прохныкавшего *Signor perdonate, questa e la mia patria*<sup>17</sup>, он сознался: У меня, бедного северянина, глаза едва не наполнились слезами.

Вся жизнь, все образование Гете были жизнью и образованием художника. В нем нет бессознательности поэта. В автобиографии он точно описывает жизнь автора Вильгельма Мейстера. Так же как в этой книге смешаны с редкой и безмятежной мудростью известная мелочность и преувеличение пустяков, а мудрость используется для создания скованного, пристрастного, хорошо воспитанного человека – восхваление театра, пока сама жизнь не превращается в сцену, которая требует от нас лишь выучить как следует свои роли и играть точно и благопристойно, – так же и в автобиографии порок его образования, если можно так выразиться, заключается в чисто художественной отточенности. Природа оставлена на заднем плане, хотя в конце концов она берет верх и производит на мальчика необычайно сильное впечатление. Это жизнь городского ребенка, чьи игрушки – картины и произведения искусства, чьи чудеса – театр, королевские процессии и коронации. Если, будучи юношей, он подробно изучает порядок и иерархию кортежа, боясь упустить самую ничтожную мелочь, то, став взрослым мужчиной, стремится сохранить положение в обществе, отвечающее его понятиям о респектабельности. Он был лишен многих радостей маленького дикаря. Он и сам говорит в автобиографии, когда ему впервые удалось сбежать в настоящий лес без ворот и ограды: Одно можно сказать с уверенностью: лишь безотчетные, всеохватывающие чувства, присущие юности и нецивилизованным народам, способны воспринимать возвышенное, ибо когда что-то из окружающего мира пробуждает в нас эти чувства, они либо бесформенны, либо облечены в формы, неясные нам, и мы оказываемся окружены величием, которое не в состоянии постичь. И дальше он говорит о себе: С детства я жил среди художников и оттого приучился смотреть на окружающие предметы, соотнося их с искусством. И этому он остался верен до конца. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы быть воспитанным всесторонне. Он говорит, что никогда не соприкасался с уличными мальчишками. У ребенка должна быть привилегия невежества, так же как и знаний; счастлив ребенок, остающийся порой без присмотра.

Правила Искусства во власти Закона Бытия<sup>18</sup>.

Гений может одновременно быть и Художником, так происходит часто, но эти две вещи не надо смешивать. Гений, по отношению к человечеству, есть родоначальник, существо вдохновленное или демоническое, которое выполняет безукоризненную работу, подчиняясь еще не открытым законам. Художник – тот, кто открывает и применяет законы, наблюдая работу Гения – будь то человек или природа. Ремесленник – тот, кто просто применяет правила, открытые другими. Никогда не было человека, состоящего лишь из Гения, так же как никогда не было человека, вовсе его лишенного.

Поэзия – мистика человечества.

Сказанное поэтом не поддается анализу: его предложение – одно слово, в котором слоги – слова. В действительности не существует слов, достойных быть положенными на его музыку. Но какое это имеет значение, если мы всегда не слышим слов, когда слышим

музыку?

Многие стихи не стали поэзией, оттого что не были написаны на единственно правильной волне, хотя, быть может, бесконечно приближались к ней. Поэзия вообще существует лишь чудом. Это не цельная мысль, а лишь оттенок, выхваченный из более широкой, уходящей мысли.

Стихотворение – неделимое беспрепятственное выражение, которое, созревая, падает в литературу, так же неделимо и беспрепятственно попадая в руки того, для кого оно вызрело.

Если вы можете говорить то, чего никогда не услышите, и писать то, чего никогда не прочтете, вы совершаете редкое деяние.

“ Мы выбрать для себя должны работу,  
Бог вас оставит с ней наедине<sup>19</sup>.

Бессознательность человека – это сознание Бога.

Глубоки основы искренности. Даже каменные стены имеют свой фундамент под ином.

То, что создано небрежным мазком, очаровывает нас, как формы лишайника и листьев. В случайности таится совершенство, которого нельзя достичь сознательно. Нарисуйте что-нибудь тупым пером на листе бумаги, а потом сложите лист пополам, и на пустой половине проявится тонко очерченный бледный контур, во многих отношениях более приятный для взгляда, чем тщательно вычерченный рисунок.

Талант творчества очень опасен, он наносит молниеносный удар по сердцевине жизни – как индеец, снимающий скальп. Я чувствую, как моя жизнь прорастает наружу, когда мне удается ее выразить.

Гете писал о своей поездке из Бреннера в Верону: Эч течет здесь медленнее и во многих местах образует широкие заводи. На берегу у самой реки и вверх по холмам растения так тесно насажены и перемешаны, что, казалось бы, должны заглушать друг друга: виноград, кукуруза, шелковица, яблоня, груша, айва и орехи. Через стену весело и ярко перебрасывается бузина. Плющ на крепких стеблях тянется вверх по скалам и широко расстилается по ним; в промежутках скользят ящерицы, и все, что движется взад и вперед, напоминает мне любимые произведения живописи. Подвязанные на голове косы женщин, открытая грудь и легкие куртки мужчин, тучные волы, которых гонят с базара домой, навьюченные ослики – из всего этого создается живая и движущаяся картина Генриха Рооса. А когда наступает вечер, в воздухе тепло, редкие облака отдыхают на горах и скорее стоят, чем плывут по небу, и сразу после заката солнца начинается громкое стрекотание кузнечиков, тогда чувствуешь себя наконец в этом мире как дома, а не в гостях или в изгнании. Я ко всему охотно привыкаю, словно я здесь родился и вырос, а теперь

возвращаюсь домой из поездки в Гренландию, с ловли китов. Я приветствую даже пыль отечества, которой я так давно не видел, по временам поднимающуюся клубами вокруг моей коляски. Бубенцы и колокольчики кузнечиков звенят премило – пронзительно, но отнюдь не неприятно. Весело слушать, как шалуны-мальчишки пересвистываются взапуски с целым полем таких певцов; кажется, что они в самом деле подзадоривают друг друга. Вечер так же идеально тих, как и день.

Если бы о моем восхищении узнал человек, постоянно живущий на юге и на юге родившийся, он счел бы это ребячеством. Ах, все, что я здесь высказываю я знал уже раньше, страдая долго под неприветливым небом. Но теперь мне приятно хоть в виде исключения испытать ту радость, которую мы должны были бы ощущать непрерывно как вечную необходимость природы.

Так мы плыли по вольным волнам вымысла и грез, как говорил Чосер, и нам казалось, что все плывет вместе с нами; сам берег и дальние скалы были растворены в плотном воздухе. Казалось, твердейший материал и жидкость подчиняются одним законам, и ведь в конце концов так оно и есть. Деревья были как реки из сока и древесного волокна, текущие из атмосферы в землю по стволам, а корни их струятся к поверхности. А в небесах были реки звезд, млечные пути, уже начавшие мерцать и подрагивать у нас над головами. И еще были реки скал на земле, реки руды в ее недрах, и мысли наши плыли, кружили, и время сосредоточилось в текущем часе. Оставьте же нас бродить здесь, где нас окружает вселенная, а мы все еще находимся в центре. Если посмотреть на небо – оно выгнуто и образует свод, и если вода бездонна, она тоже выгнута. Небо опускается к земле у горизонта, оттого что мы стоим на равнине. Звезды так низко, им, кажется, не хочется уходить, но на своем круговом пути они будут помнить меня и вновь возвратятся по собственным следам.

Мы уже прошли место своего лагеря на Кус-Фоллс и выбрали себе стоянку на западном берегу, в северной части Мерримака. почти напротив большого острова, на котором провели день, когда двигались вверх по реке.

Тут мы и легли спать этим летним вечером, на склоне прибрежного холма, в нескольких десятках ярдов от нашей лодки, которую мы вытащили на песок, прямо за частоколом дубов, растущих вдоль реки, не потревожив никого из лесных обитателей, кроме пауков в траве, которые выползли на свет нашего фонаря и принялись взбираться на спальные мешки. Когда мы выглянули из палатки, деревья были едва различимы сквозь туман, трава покрылась прохладной росой и, казалось, наслаждалась этим, и мы вдыхали влажный воздух, принесший с собой свежесть. Съев ужин, состоящий из горячего какао, хлеба и арбуза, мы вскоре устали разговаривать и делать записи в дневниках и, опустив фонарь, висевший на шесте палатки, уснули.

К сожалению, мы пропустили многое, что следовало бы занести в дневник. Хотя мы взяли себе за правило записывать туда все, что с нами происходит, этого правила не так легко придерживаться, потому что значительные происшествия заставляют забывать о подобных обязательствах, поэтому только незначительные вещи оказываются записанными, важными же пренебрегают. Не так легко записывать в дневник все интересное – ведь писать-то нам

совсем не интересно. Каждый раз, как мы просыпались ночью, путая сны с полусонными мыслями, лишь услышав тяжелое дыхание ветра, хлопавшего окнами палатки и заставлявшего дрожать веревки, мы понимали, что лежим на берегу Мерримака, а не в спальне у себя дома. Головы наши были так близко к траве, что нам слышно было журчание реки, ее шум и как она целует берега, устремляясь вниз. Иногда вдруг слышится плеск громче обычного, и снова могучий поток издает лишь прозрачный, струящийся звук, как будто в ведре образовалась течь и вода стекает в траву прямо рядом с нами. Ветер шелестит в дубах и орешнике, он похож на бесцеремонного и непоседливого человека, который среди ночи все ходит, наводя везде порядок, который иногда перетряхивает одним порывом целые ящики, полные листьев. Кажется, вся Природа в предпраздничной суете готовится встречать почетного гостя, все тропинки должны быть выметены тысячей горничных, тысячи кастрюлек кипят на огне для завтрашнего пира; и торопливый шепот, и тысячи фей – их пальчики так и мелькают – молча шьют новый ковер, чтобы укрыть им землю, и новые наряды для деревьев. А потом ветер успокоится и замрет вдали, и мы вслед за ним снова уснем.

## Примечания

Произведение вышло в свет в 1849 г. В настоящем издании впервые публикуется на русском языке. Перевод выполнен В. В. Сонькиным по изданию: Thoreau H. D. *A Week on the Concord and Merrimack Rivers*. N. Y., 1963.

1 Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) – американский философ, эссеист и поэт. Создатель теории трансцендентализма. Приведены строки из Лесных записок. Ч. I. С. 64—68, 82—84, 92—96. Пер. В. Соньюша.

2 Пенобскот – член одного из племен индейцев-алгонкинов, живших в районе реки и залива Пенобскот в штате Мэн.

3 Перевод А. Борисенко.

4 Авл Персии Флакк. Сатиры. Пролог, 6—7. Здесь и далее цитаты из Персия даны в переводе Ф. Петровского.

5 Соучастник преступления (лат.).

6 «Персии. Сатира I, 6—7.

7 Святая святых (лат.).

8 Сакральная часть храма, место, куда доступ открыт только посвященным.

9 Персии. Сатира III, 60—61

10 Персий. Сатира V, 96—97.

11 Херберт Джордж (1593—1633) – английский поэт. Начало стихотворения Добродетель из сб. религиозных стихов Храм. Пер. В. Сонькина.

12 Чосер Джеффри (1340? —1400) – английский поэт, основоположник английского литературного языка. Сон. Перевод А. Борисенко и В. Сонькина.

13 Чаннинг Уильям Эллери, младший (1818—1901) – поэт-трансценденталист из круга Р. У. Эмерсона, племянник У. Э. Чаннинга-старшего, американского унитаристского проповедника и литератора, идейного предшественника трансценденталистов. Процитировано стихотворение Река, 14—17. Пер. А. Борисенко.

14 Монтгомери Джеймс (1771—1854) – шотландский поэт и журналист, автор стихотворных переложений псалмов. Процитировано стихотворение Солнечные часы, 10—17. Пер. А. Борисенко.

15 Рэли Уолтер (1552? —1618) – английский литератор и политический деятель. Был в милости у королевы Елизаветы, при Иакове I много лет сидел в тюрьме, после одного из неудачных путешествий в Америку был казнен.

16 Гёте И. В. Путешествие в Италию. Здесь и далее отрывки из этого произведения в переводе Н. Холодковского.

17 Синьор, простите, это моя родина (ит.).

18 Куарлз Фрэнсис (1592—1644) – английский религиозный поэт, автор книги Эмблемы и иероглифики. К моим книгам. Божественные фантазии. Кн. IV. С. 206. Оп. 216. Стр. 36. Пер. А. Борисенко.

19 Перевод А. Борисенко.

Примечания составил В. В. Сонькин

## О ГРАЖДАНСКОМ НЕПОВИНОВЕНИИ

(CIVIL DISOBEDIENCE)

Написано в 1848 г. Впервые опубликовано в издававшемся Элизабет Пибоди Журнале эстетики в 1849 г. под названием Соппротивление гражданскому правительству.

В настоящем издании текст русского перевода (З. Е. Александровой) воспроизводится по: Эстетика американского романтизма (М.: Искусство, 1977).

1 Лучшее правительство то, которое правит как можно меньше – Торо имеет в виду слова Эмерсона из второй серии его Очерков (1844): Чем меньше у нас правительства, тем лучше.

2 Первая строфа стихотворения английского поэта Чарлза Вулфа (1791—1823) На погребение сэра Джона Мура (1817). Пер. И. Козлова.

3 затыкать дыру, чтобы не дуло – Шекспир В. Гамлет, V, 1.

4 Шекспир В. Король Иоанн, V, 2. Пер. Н. Рыковой.

5 ...захваченная страна – не наша, а армия захватчиков – наша. – Речь идет о мексиканской войне 1846—1848 гг., целью которой было распространение на новые территории рабовладельческой системы. Великие дни начала мексиканской войны Торо высмеял в своей книге Уолден, или Жизнь в лесу.

6 Пэли Вильям (1743—1805) – английский философ и богослов. Имеется в виду его книга Принципы моральной и политической философии (1785).

7 Если я несправедливо вырвал доску у тонущего человека, я должен вернуть ее, хотя бы при этом сам утонул – этот пример взят Торо из философского трактата Цицерона Об обязанностях (Ш), который он читал в Гарварде.

8 Евангелие от Луки, 9: 24.

9 ...закваской для всего теста. – Первое послание апостола Павла к коринфянам, 5:6.

10...соберется съезд. – Имеется в виду съезд демократической партии США, состоявшийся в 1848 г.

11 Чудак. – Имеются в виду члены тайного масонского общества Чудак, возникшего первоначально в Англии в начале XVIII в., а в 1806 г. основанного в США.

12 ...тюрьмы в Каролине. – Имеются в виду обстоятельства поездки известного адвоката Самуэла Хоурда (1778—1856) в Чарлстон (Южная Каролина) в 1844 г. для защиты прав негров из Массачусетса. Грубое обращение южных властей с Хоурдом вызвало возмущение в северных штатах.

13 Евангелие от Матфея, 22:19.

14 Евангелие от Матфея, 22:21.

15 Конфуций. Лунь Юй (Беседы и суждения), XIV, 1.

16 Речь идет о случае с Торо в июле 1846 г., рассказанном также в его книге Уолден, или Жизнь в лесу (глава Поселок).

17 Когда я вышел из тюрьмы – ибо кто-то вмешался и уплатил налог. – Существуют различные точки зрения, кто заплатил за Торо налог. Семейная легенда приписывает этот денежный взнос, освободивший Торо из тюрьмы, его теткам.

18 ...моих темниц. – Имеется в виду книга итальянского поэта-карбонария Сильвио Пеллико (1789—1854) Мои темницы (1832), которая имела большой успех и была переведена на многие европейские языки.

19 Из 2-й сцены второго действия трагедии Битва при Алькасаре (1589) английского драматурга Джорджа Пиля (1558—1597).

20 Вебстер Дэниел (1782—1852) – американский государственный деятель, прославившийся как оратор. Далее Торо цитирует его речь 12 августа 1848 г.

21 ...деятели 87-го года. – В 1787 г. была принята конституция США.

22 Даже китайский философ... – то есть Конфуций (551—479 гг. до н. -э.), в основе учения которого лежит идея подчинения подданных государю.

Примечания составил А. Н. Николюкин

---

Версия #3

Зверобой создал 23 июня 2025 20:53:57

Зверобой обновил 23 июня 2025 21:16:06